

«Вечный третий в любви»: к вопросу о вспомогательной Эго-функции

В названии доклада использован рефрен стихотворения М. Цветаевой «Наяда» (II, 270), которое, возможно, даёт ключ к одной из загадок личности поэта. Что за любовь и кто этот «третий»? В статьях, письмах и тетрадных записях М. Цветаевой можно обнаружить диаметрально противоположные высказывания об отношении её к роли собственного интеллекта (если «разум» понимать так) и к собственному сознанию (если под «разумом» понимать способность саморефлексии, противопоставленную «стихии» бессознательного).

Среди читателей, поверхностно знакомых с поэзией М. Цветаевой, чрезвычайно распространён стереотип восприятия её певицей необузданной эмоциональности, неприкрытых страстей, облекающихся в её стихах часто в мифологические, но никогда не в этические культурные формы. Более того, образ лирической героини наивно переносится публикой на личность самого поэта.

Читатели же, хорошо знающие творчество М. Цветаевой, как правило, солидарны с мнением С. Эфрона, высказанным в известном его письме к М. Волошину: «М<арина> – человек страстей. <...> И это всё при зорком, холодном (пожалуй вольтеровски-циничном) уме» (НСИП, 306). То же определение Цветаевой, раньше и лаконичнее, сформулировал Эллис: «Архив в хаосе» (НСТ, 194) <NB! Не «хаос в архиве» – С.Л.>.

Тема конференции даёт нам повод подступиться к глубинным причинам и этой иллюзии, и этого парадокса, к причинам, в которых сама Марина Ивановна отдавала себе отчёт, как мы покажем, анализируя метафорический ряд стихотворения «Наяда».

К М. Цветаевой вполне применимы слова Н. Бердяева, сказанные о Достоевском: «Мысль его всегда оргийно-исступлённая, но от этого она не теряет в силе и остроте. На примере своего творчества Достоевский показал, что преодоление рационализма и раскрытие иррациональности жизни не есть непременно умаление ума, что сама острота ума способствует раскрытию иррациональности»¹.

После выхода в свет известной работы М. Юнгена² с уверенностью можно сказать, что прозрения русских литераторов и философов были систематизированы К.Г. Юнгом и, повлияв на формирование аналитической психологии, вошли в мировую науку под его именем. Поэтому связь рационального и иррационального в жизни и творчестве М. Цветаевой поможет нам определить именно теория психологических типов Юнга.

Позволю себе, прежде всего, кратко напомнить некоторые её положения, актуальные для настоящего исследования.

Критерием выделения типа выступает комбинация: *установка сознания* (одна из двух возможных) плюс две *Эго-функции* (из четырёх возможных) – *основная* и *вспомогательная*.

Сознательная установка *экстравертного* типа направлена преимущественно на объекты – феномены окружающей действительности. Сознательная установка *интровертного* типа направлена на субъективный резонанс, возникающий при воздействии объектов. Внимание интроверта занято не столько явлением, сколько собственным впечатлением от него, и в этом смысле интроверты – скорее, художники, чем фотографы, скорее, импрессионисты, чем реалисты.

При этом субъективизм интровертов – вовсе не негативное их свойство и далеко не всегда приводит к эгоцентризму и отрыву от реальности, так как «всякое восприятие и познание, – писал Юнг, – обусловлено не только объектом, но и субъектом»³. Параллельно объективной истине вещей существует не менее достоверная психическая реальность архетипических законов человеческого бытия. Именно она является «средой обитания» интровертов, ракурсом восприятия и познания ими мира.

Как я уже сказала, помимо установки, тип сознания, по Юнгу, определяет основная Эго-функция – одна из антиномичной пары *рациональных* (функции *мышления* и *чувства*) или одна из пары также противопоставленных друг другу *иррациональных* функций (*ощущения, интуиции*). Рациональные функции в основе взаимодействия индивида с миром полагают *суждение*, иррациональные – *восприятие*.

Итак, Юнг выделял четыре Эго-функции психики: две рациональных функции суждения (ось: мышление – чувство) и две иррациональных функции восприятия (перпендикулярная первой ось: интуиция – ощущение). Психологический тип определяется комбинацией одной ведущей и одной вспомогательной функции в экстравертивной (направленность сознания на внешнюю действительность) или в интровертивной (направленность на психическую, архетипическую реальность) установке.

При доминировании в сознании одной из функций противоположная ей по оси оказывается наиболее вытесненной в сферу бессознательного и определяется второй установкой, вспомогательной же становится одна из функций «перпендикулярной оси».

Таким образом, в зависимости от основной Эго-функции Юнг определял четыре интровертных типа сознания (как и четыре экстравертных): мыслительный, чувствующий, ощущающий (сенситивный) и интуитивный. «Сознательными могут быть продукты всех функций, но о сознательности функции мы говорим, – замечал Юнг, – лишь тогда, когда не только осуществление её подчинено воле, но когда и принцип её является руководящим для

ориентирования сознания»⁴. В норме именно основная функция сознания определяет призвание человека, его род деятельности.

Исследование творческого наследия М. Цветаевой, воспоминаний о ней и биографических материалов психологу позволяет с уверенностью констатировать принадлежность поэта к интровертному интуитивному типу. Разумеется, строгое дифференциальное исследование личности Цветаевой потребовало бы развёрнутых доказательств на основе анализа её высказываний. Однако в данный момент это не является специальной задачей. Предложим лишь некоторые аргументы в обоснование своего утверждения.

Доминирующая в сознании функция интуиции позволяет человеку распознавать заложенные в ситуации и ещё не реализовавшиеся возможности, не заметные до поры другим людям. Экстраверта интуиция делает преуспевающим прогностиком, интровертивная же интуиция художника, по Юнгу, получая пробуждающий толчок от внешних объектов, на внешних возможностях не задерживается. Дистанция между экстравертным и собственным интровертным типами интуиции явлена нам самой Цветаевой в строках:

В синее небо ширя глаза –
Как восклицаешь – Будет гроза!

На проходимца вскинувши бровь –
Как восклицаешь: – Будет любовь!

Сквозь равнодушья серые мхи –
Так восклицаю: – Будут стихи!

(II, 342)

Интуиция интроверта останавливается на том, что было вызвано внешним внутри субъекта, а именно на символе, архетипическом «первичном образе», «который, – пишет Юнг, – интуиция воспринимает и, воспринимая, создаёт <...> Интроверт переходит от образа к образу, гонясь за всеми возможностями, заключёнными в творческом лоне бессознательного <...> Мир для него есть *эстетическая* проблема»⁵.

Поскольку интровертный интуитив является продуктивным художником, его задача – оформление внутренних образов своего восприятия. Этим он может и ограничиться. Однако, уточняет Юнг, «достаточно уже относительно небольшой дифференциации в суждении, чтобы переместить созерцание из чисто эстетической в моральную плоскость; когда интуитив <...> доходит до вопроса: какое это имеет значение для меня или для мира? Что из этого вытекает для меня или для мира в смысле обязанности или задания?»⁶.

В связи с последней оговоркой у Юнга и возникла концепция вспомогательной Эго-функции, в роли которой может выступать по отношению к основной одна из функций другой пары, иррациональную (или «эстетическую»⁷, её синонимическое обозначение)

дополняя рациональной (или наоборот). Для интуитивного типа, таким образом, вспомогательной функцией может быть либо чувство, либо мышление. В первом случае мы имеем «художественную интуицию», во втором – «философскую интуицию, которая при помощи могучего интеллекта переводит своё видение в сферу постигаемого»⁸.

Продуктом именно философской интуиции Марины Цветаевой мы можем считать её поздние работы по эстетике, приоткрывающие непосвящённым тайну творческого процесса. Куда более, чем доктор Юнг, физиологично поэт преподносит этот процесс как «душевно-художественный рефлекс <...> до всякой мысли <...> почти что преждевременный ответ на данное явление» (V, 364). Именно так Цветаева утверждает первичность интуиции и именно так непосредственно за ней вводит «мысль», лишь потом вспоминая о «чувстве», окрасившем и предответ, и суждение.

Последовательность, выстроенная самой Цветаевой (реакция *до* внешнего раздражения – мысль – чувство) соответствует степени осознанности Эго-функций у *интуитивного мыслительного типа*, к которому можно отнести Цветаеву: интуиция (основная) – мышление (вспомогательная) – чувство (наименее из этих трёх определяющая сознание и, в свою очередь, подконтрольная сознанию).

Обратите внимание, что ощущение, если и призвано М. Цветаевой, то лишь в качестве метафоры – как «пронзённость всего существа данным явлением» (V, 364). Наиболее вытесненной в бессознательное функцией у М. Цветаевой является ощущение. Но «вытесненная» не значит «бездействующая»! Ощущение у интуитива проявляется спонтанно, часто нелепо и шокирующе – как «распущенность». Сознание же интуитива стремится «овладеть» функцией ощущения, «вывести его на свет». Основная линия напряжения личности, по Юнгу, – между ведущей и вытесненной функциями, в случае М. Цветаевой – между интуицией и ощущением.

Здесь уместно напомнить, что основа психоаналитической теории личности вообще – компенсаторные отношения между сознательной и бессознательной сферами психики. Вот почему, утверждает Юнг, «интровертный интуитив больше всего вытесняет <из сознания – С.Л.> ощущения объекта. Бессознательную личность можно поэтому описать как экстравертный ощущающий тип примитивного рода. Сила влечения и безмерность <«В мире мер» (II, 186) – С.Л.> являются свойствами этого ощущения, так же, как чрезвычайная привязанность к чувственному впечатлению. Это качество компенсирует разреженный горный воздух сознательной установки»⁹.

Пластичность Юнговской типологии в том и заключается, что все четыре функции она признаёт у каждого человека, но только две из них человек использует как хорошо вышколенных коней, две же другие, «необъезженные», в любой момент способны

опрокинуть «колесницу души» (пользуясь метафорой Сократа). Аполлон на колеснице, запряжённой четвёркой коней, воплощает ту же метафору в её Юнговой редакции. Возница привлечёт внимание толпы, лишь когда его кони понесут, именно поэтому чудачества интеллектуала занимают публику больше, чем его научные труды, «романы» Цветаевой – больше, чем её поэмы.

Стихийная чувственность М. Цветаевой, пронизывающая её лирику, подобна неутолимой жажде Тантала в противоположность чувственности сенситивного типа (со вкусом и исключительно в культурно приемлемых формах умеющего предаваться радостям, доставляемым пятью чувствами). Юнгианская экспресс-диагностика предлагает основную функцию определять от обратного: по области излюбленных фантазий. Несбыточной мечтой мыслительного интуитива являются простые человеческие радости, в то время, как его подлинно любвеобильный ближний преклоняется перед непостижимой тайной ума и таланта.

Итак, идеальная личность Цветаевой, бессознательный антипод её волевой сущности – экстравертный чувствующий сенситив. «Его постоянный мотив в том, чтобы ощущать объект, иметь чувственные впечатления и, по возможности, наслаждаться»¹⁰. Антиподы по оси интуиция – ощущение несовместимы в одном человеке. Но Я, центр сознания, ищет пути к альтер-Эго, не умея, впрочем, в поисках этих выйти за пределы средств интровертной интуиции: «Я ничего не искала в жизни (вне-жизни мне всё было дано) кроме Эроса, не человека а бога, и именно бога земной любви. Искала его через души» (НСТ, 271), – признаётся М. Цветаева. «Есть, очевидно, иной бог любви, кроме Эроса. – Ему служу» (НЗК2, 295).

Стихия внутренней природы, психической реальности, представленная в «шестом чувстве» интуиции, тщетно стремится к слиянию с природой физической, данной в ощущениях – «пяти чувствах». Неутомимому тяготению Я поэта к стихии вообще, к растворению в ней, к бессмертию в ней посвятит М. Цветаева «Искусство при свете совести» (1932 г.). Но ещё до облачения в понятийную форму, четырьмя годами раньше, предстанет Цветаевская рефлексия этого интрапсихического конфликта в интуитивно схваченном образе стихотворения «Наяда» (II, 270 – 272).

Стихотворение начинается как вполне нудистский протест против купального костюма, «злостной гранью», «мысом» *вклинивающегося* «Между мной и волной» – между Я и морской стихией (кстати, в классическом психоанализе именно море часто интерпретируется как символ бессознательного).

Постепенно, выстраивая ряд ассоциативных метафор, Цветаева производит амплификацию отправного образа Культурного Запрета, материализованного в лоскуте ткани. Поэт, расширяя круги, осваивает всё новые области значений.

Любовь как всегда архетипически амбивалентна у М. Цветаевой: бой = брак: «Как приму тебя, бой <...> // Как вступлю в тебя, брак»... А «вечный третий в любви» предстаёт внешним орудием социального надзора над Я в нахлынувшей волне аффекта («гад // <...> в горе – взгляд»). «Вечный третий» предстаёт и социокультурным орудием отчуждения ритуала – единственного моста между психической реальностью и действительностью, между интуицией и сенсорикой («В вере – храм, в храме – поп»).

Гробу уподобляет поэт актуальную опосредованность некогда прямого богообщения, в котором соприкосновение уже являлось причастием, в котором пантеистично нераздельны стихийное и божественное, для которого кощунственно идентичны (функционально) жрец и фиговый лист... купальника.

Обратившись было к классическим аллегориям (Наяда, Нереида), Цветаева внезапно отбрасывает эстетический канон, сталкивая читателя с неожиданными членами своей референтной группы: «Хлебопёк, кочегар, – // Брак без третьего между!». В этом предстоянии поэта ремесленникам есть доля стыда и горечи: её поэтическое «ремесло» – союз почему-то непременно с «третьим», тройственный, хоть бы и аналог этим «третьим» был. Кто этот третий?

Нагота бойцов – ремесленников смерти – дотоле откровенно враждебного «третьего» являет в его защитной ипостаси («В пулю – шлем, в бурю – кров»). Обратите внимание: защита *головы* – *рассудка* в переносном смысле. Но Цветаевой вождельно устранение этой защиты и «блаженство уничтожения»: «Чистая радость удару <...> Блаженство полной отдачи стихии, будь то Любовь, Чума – или как их ещё зовут» (V, 350), – напишет она в «Искусстве при свете совести»! Однако вождельное недостижимо: «Пока ты поэт, тебе гибели в стихии нет, ибо *всё* <курсив мой – С.Л.> возвращает тебя в стихию стихий: слово» (V, 351).

Что есть это «всё», стражем вставшее между двумя стихиями – физиологической, осязаемой, и архетипической, интуитивно постигаемой в образах? Кто же этот третий лишний в любви-погибели, в боеслиянии амазонки с Ахиллом? «Всё» 1932 года впервые возникает ещё в 1928-ом: поэтическая интуиция Цветаевой, раскрыв в стихе веер безупречных метафорических «определений», демонстративно спотыкается о необходимость введения понятия и диктует Цветаевой достойное Сфинкс нагромождение: «Всё, что бы *ни* – // Что? Да *всё*, если нечто!».

Однако за шаг до этой «загадки Сфинкс» Цветаевой уже взята смысловая высота стихотворения «Наяда», пройден перевал, названо максимально пока возможное (для нас же – достаточное):

Как вступлю в тебя, брак, –
Раз меж мною – и мною ж –
Что? Да нос на тени,
Соглядатай извечный –
(Свой же) <...>

Итак, имеем: 1) Я-субъект, заключённый в груди лирической героини «Наяды»; 2) Я-стихия; 3) Я как «свой» – что? – *орган познания*, рефлексии, самоконтроля, и отчуждения, и защиты... И «бис», и «гад», и «тын», и «клин». Из письма Цветаевой: «<...> нечто вроде упрёка. – «Вы отравлены логикой». Дитя, этот упрёк мне знаком как собственная рука. <...> Это – я, один из моих камней (о меня!) преткновения людей и спасательных кругов от них» (НСТ, 194).

К.Г. Юнг предостерегал: «Психолог всегда должен помнить <...> возможно делать предположения касательно художника, исходя из его произведения, или наоборот, но эти предположения никогда не достигнут степени заключений. В лучшем случае, они могут играть роль остроумных догадок»¹¹.

Осмелюсь предложить свою догадку: интровертный интуитив, М. Цветаева в стремлении к недостижимой целостности расколотой в человеке природы – в стремлении к осознанному использованию собственной функции ощущения – воспринимает препятствием свою вспомогательную рациональную функцию мышления (профессиональный инструмент воплощения в слове несказанных веяний интуиции). И стихотворение «Наяда» – нечто иное, как проклятие собственной интеллектуальной функции («Мой ум, как фонарь на любовном свидании» (НЗК1, 419), – даже во сне досаждает «неблагодарная» Марина Цветаева. Даже в письме сетует: «Дарование и ум – плохие дары в колыбель, особенно женскую» (VI, 670). Разум, кажется, обоюдоострым мечом разделяет божественное (интуицию) и земное (ощущение).

Между тем Юнг именно через вспомогательную функцию видит путь Эго к функции, наиболее вытесненной в бессознательное, предупреждая об опасности непосредственной интеграции в Эго его противоположности: «Если попытка «насильственно» (в отношении сознательной точки зрения) развить противоположную функцию <...> удаётся, то появляется прямо-таки навязчивая зависимость пациента от врача, «перенос», который можно было бы пресечь только грубостью»¹².

Если понятия «врач» и «пациент» воспринимать не буквально, именно по модели такой привязанности-переноса, вопреки «Цыганской страсти разлуки» (I, 247), развивались

отношения М. Цветаевой с «одарёнными в любовной любви», которым удавалось непосредственно приоткрыть для неё самой возможности её чувственности. «Какие-то природные законы во мне нарушены, – как жалко!» (НЗК2, 104). «Есть <...> люди одарённые в любовной любви. Думаю, что я, <...> сама в любовной любви если не: бездарная, то явно-неодарённая, <...> к этой одарённости, в них, тянусь, чтобы хоть как-нибудь восстановить равновесие. Образно: они так целуют, как я – чувствую и так молчат, как я – говорю. Ничем иным такое тяготение <...>, при моей холодной в любви (и только в любви!) крови не объяснишь. <...> Ещё одно – и очень сильное. Эти люди (и только эти!) делают меня другой, новой собой, не-собой. Соблазн собственной новой души, а не чужого тела» (НСТ, 484).

Однако присутствие «соглядатая извечного» ускорило конец романа: развитая вспомогательная функция мышления, в любви оставшись «не у дел», выходила из-под контроля сознания, обретая черты автономного комплекса, то есть проявляя известную самостоятельность.

Если бы только «фонарь» был помехой любовным свиданиям М. Цветаевой! Нет, те, кто отваживались на сближение, должны были явственно ощутить присутствие третьего лица, мужского начала. Этот третий лишний, подлинный «вечный третий в любви» М. Цветаевой, ревнивый и саркастичный, бесцеремонно вклинивался в тет-а-тет, заявляя свои права: «<...> мой ум, – всё же не без гордости пишет Цветаева, – так безукоризненно воспитан, что охотно – чтобы не ставить меня в смешное положение – как истый джентльмэн – всегда даёт дорогу сердцу – но так, однако, чтобы сразу, в нужную секунду, мочь встать на мою защиту» (НЗК1, 373–374).

«Нужная секунда», разумеется, оказывалась как раз той, в которую любой мужчина меньше всего рассчитывает встретить другого «джентльмена». Это случается так: «Он гладит, я говорю ему о своём делении мира на два класса: брюха – и духа» (НЗК2, 246). (Комический эффект такого сближения подобен эффекту неловкой фразы одной из биографов М. Цветаевой: «Поэт выходит замуж за Сергея Эфрона», – неуместное в данном контексте пренебрежение женским полом субъекта.)

Вспомогательная функция мышления, насильственно вытесняемая, как ребёнок в детскую с приходом взрослых гостей, как дитя же, бунтует, стремясь привлечь к себе внимание. Действительно, попытку интуитива непосредственно овладеть ощущением ждёт фиаско.

«Но доступ в бессознательное и к наиболее вытесненной функции, – продолжает Юнг, – открывается, так сказать, сам собой и при достаточном ограждении сознательной точки зрения, если путь развития проходит через <вспомогательную> функцию. Иррациональный тип требует более сильного развития представленной в сознании рациональной

вспомогательной функции для того, чтобы быть достаточно подготовленным, когда потребуется воспринять толчок бессознательного»¹³. Таким образом, обоюдоострый меч вспомогательной функции мышления должен не разделять «грудь с грудью», а соединять, как в стихотворении М. Цветаевой «Клинок»:

Двусторонний клинок – рознит?
Он же сводит! Прорвав плащ,
Так своди же нас, страж грозный,
Рана в рану и хрящ в хрящ!
(II, 219)

Случился ли в жизни Марины Цветаевой момент такого удара – «толчка бессознательного»? Обратимся за ответом к концу стихотворения «Наяда».

Узнаю тебя, смерть,
Как тебя ни зови:
В сыне – рост, в сливе – червь:
Вечный третий в любви.

«Вечный третий», которого мы здесь уже идентифицировали с Цветаевской вспомогательной функцией мышления, в последнем метафорическом воплощении («в сливе – червь») предстаёт изъёмом, порчей, пороком, паразитом – внезапно обнаруженной *отвратительной* помехой... причащению «святых даров» мироздания посредством рецепторов (только в подобном нелепом парадоксе и осуществимо соединение интуитивного и сенсорного восприятия, впрочем, вовсе не бывшее парадоксальным для архаичного языческого менталитета!).

И вот этот отвратительный, вездливый «червь» рассудка, внедрившийся между оппозиционными стихийными Я, ставится Цветаевой в синонимический ряд с... *ростом сына* («В сыне – рост, в сливе – червь»)! Всё это – «смерть», узнаваемая «горделивой матерью»!

С точки зрения ощущения, чудовищное восприятие роста сына болезнью, червём, подтачивающим «цветущий отросток», – всего лишь архетипическая материнская ревность: рост плода – залог разрыва пуповины, который однажды случится. Ведь родовые схватки – самые ощутимые в жизни женщины «толчки бессознательного», и болезненным отголоском они повторятся при «втором рождении» сына – в самостоятельность, во взрослую жизнь.

С точки же зрения интуиции, восприятие М. Цветаевой роста сына залогом собственной смерти нельзя не признать прозорливым. Особенно, если принять во внимание, *что именно* возвращает в сыне время. Об этом писал М. Волошин:

Дитя растёт, и в нём растёт иной,
не женщиной рождённый, непокорный...¹⁴

В силу ряда причин, и врождённого характера, и обусловленных особенностями ранней социализации Марины, путь Цветаевой к вытесненной функции ощущения носил деструктивный характер: самозабвение в полноте ощущений сулила лишь смерть, предсмертный миг (почему и кульминация земной любви воспринимается Цветаевой как обмирание, пограничное состояние между жизнью и смертью).

Путь к вытесненной функции ощущения (в случае Цветаевой – к смерти) лежал через развитие вспомогательной функции мышления, как и предполагал Юнг, только шёл он тем способом, который Юнг не учёл в своей типологии: через развитие интеллектуальной функции *сына*. Интеллектуальная Эго-функция – «мужская» функция для человека европейской культуры I половины XX в. (к которой принадлежали и Юнг, и Цветаева).

Воспитывая мальчика в соответствии с архетипической программой пестования «Божественного младенца», женщина проецирует на сына собственное мужское начало, архетип анимуса, способствует автономному расцвету в сыне этого начала активацией по отношению к нему собственной «третьей» (в случае М. Цветаевой – «чувствующей») функции.

По словам В. Лосской, А.И. Цветаева вспоминала: «Я воспитывала сына в понятиях добра и зла. Марину же интересовали только ум и талант»¹⁵. М. Цветаева пестовала в Георгии Эфроне функцию духа, мышления, доминантную в нём и генетически. Шестнадцатилетний Мур уже осознавал это: «Что могу сказать я о себе: я всегда пытался понять, много думал... Я никогда не обманывал, старался быть честным... Я старался всегда идти по светлому пути понимания и мысли. И иду, продолжаю идти, пытаюсь всё объяснить и понять. Но жить мне трудно – мысль тяжёлая вещь»¹⁶.

Цветаевский интуитивный мыслительный тип в Георгии трансформировался в мыслительный ощущающий¹⁷. Поэтому естественный разрыв матери и взрослеющего сына переживался Цветаевой и как разыгранная в лицах собственная интрапсихическая трагедия. Как разрыв иррациональных стихий её души неизменным вторжением третьей, рациональной и внедушевной, *нестихии* – интеллекта.

Показательно, что, в юности звавшая читателя: «В переулок сходи Трёхпрудный, // В эту душу моей души» (I, 196), – к середине 1940-го года Цветаева не сочла необходимым привести туда сына, видимо, даже имя «своей души» назвать ему не сочла возможным. В дневнике Георгия Эфрона находим поразительную запись о том, как он искал (единственную в Москве?) школу, где можно сдать французский: «Я поехал туда, <...> думая, что поблизости и находится Трёхпрудный пер. (где шк. № 120). Но этот переулок оказался в совершенно противоположном конце города. После бесконечных блужданий <...>

я наконец нашёл сам Трёхпрудный пер. и школу»¹⁸. Судя по записи, название переуллка ничего не говорит юноше («душа» ведь менее всего говорит рассудку!).

Если с собственным «умом» Цветаева мирилась как с верным соратником и заступником в миру, объективация её «вольтеровского цинизма» в лице сына сулила Цветаевой только беспощадный суд и – ни помощи, ни защиты. Первого августа 1928 г. (так датирована «Наяда») возможно, впервые предчувствовав это, тридцатого августа 1941 г. в разговоре с сыном Цветаева, вероятно, ощутила тот самый роковой «толчок бессознательного» и тридцать первого, в акте самоуничтожения, отвергла, извергла из себя единственно возможным способом... сына? или собственного монстра «чистого разума»? Наступило вождеденное слияние двух стихий – шести чувств.

Размышляя об архетипе Божественного младенца, К.Г. Юнг перспективы активации его не рассматривал в свете своей же динамической теории психологических типов. Основатель аналитической психологии едва ли предполагал, что доступ к наиболее вытесненной функции («четвёртой») может открыться Эго матери не через конструктивное развитие вспомогательной («второй») функции, но через гипертрофию её и изоляцию в психике *сына* посредством деструктивного развития в себе «третьей» функции, что было, вольно или невольно, осуществлено Мариной Цветаевой.

¹ Бердяев Н. Мирозерцание Достоевского. // Н. Бердяев. Смысл творчества. М., 2002. С. 346.

² Юнг К.Г. Русский Мефистофель: Жизнь и творчество Э. Метнера. СПб., 2001.

³ Юнг К.Г. Психологические типы / Под общ. ред. В. Зеленского. СПб.; М., 1995. С. 456.

⁴ Юнг К.Г. Там же. С. 493.

⁵ Юнг К.Г. Там же. С. 487.

⁶ Юнг К.Г. Там же. С. 490.

⁷ Юнг К.Г. Там же. С. 188.

⁸ Юнг К.Г. Там же. С. 494.

⁹ Юнг К.Г. Там же. С. 490.

¹⁰ Юнг К.Г. Там же. С. 443.

¹¹ Юнг К.Г. Психология и литература // Юнг К.Г., Нойманн Э. Психоанализ и искусство. М.; Киев, 1998. С. 31, 33.

¹² Юнг К.Г. Психологические типы / Под общ. ред. В. Зеленского. СПб.; М., 1995. С. 495.

¹³ Там же.

¹⁴ Волошин М. Избранное: Стихотворения. Воспоминания. Переписка. Минск, 1993. С. 56.

¹⁵ Лосская В. Марина Цветаева в жизни: Неизданные воспоминания современников. М., 1992. С. 138.

¹⁶ Эфрон Г. Дневники. В 2-х т. Т. 1. 1940 – 1941 годы. М., 2004. С. 342.

¹⁷ Подобно тому, как «бунтовала» Цветаевская вспомогательная функция *мышления* при попытке *интуитивного* Эго овладеть Эросом-*ощущением*, и вспомогательная функция Г. Эфрона (функция *ощущения*) ревниво и «хранительно» активировалась при попытке его *интеллектуального* Я «пробиться» к вытесненному *чувству*. В дневниках Мура обращают на себя внимание резкие переключения сознания на эротические подростковые грёзы тотчас вслед за фрагментами записи, в которых явственно проступает на поверхность сознания (и пресекается Муром!) *чувство* – тревога за близких, сострадание (см., например: *Эфрон Г. Дневники. В 2-х т. Т. 1. 1940–1941 годы. М., 2004. С. 122–123, 149* и др.). Во втором томе опубликованных дневников (*Эфрон Г. Дневники. В 2-х т. Т. 2. 1941–1943 годы. М., 2004*) нескончаемые гастрономические проекты и отчёты юноши производят впечатление уже стойкой невротической регрессии: продукция гиперактивности вспомогательной Эго-функции *ощущения*, как жир, по воле пятнадцатилетнего капитана, заливал штормящее море у Ж. Верна, заливал аффективные «валы» души Георгия, чтобы – хотя бы временно – отсрочить «потопление» этого «судна» житейскими бурями.

¹⁸ Эфрон Г. Дневники. В 2-х т. Т. 1. 1940 – 1941 годы. М., 2004. С. 77.